К. А. СВАСЬЯН

Социально-политическая философия Освальда Шпенглера

Джеймс Джойс заметил как-то, что в чернильнице каждого настоящего писателя заключен один роман. Применительно к Шпенглеру это замечание вполне правомерно. Оставив немалое творческое наследие, он вошел в историю философской мысли прежде всего как автор «Заката Европы» — книги, которая при всей своей жанровой неуловимости в гораздо большей степени отвечает духу романа, чем нормам научного исследования. До выхода в свет первого тома (1918) Шпенглер, написавший диссертацию о Гераклите, ряд статей и рецензий, не был известен даже в узких академических кругах — он сознательно чурался всяких контактов с ученым миром, да и просто какого-либо общения. Шумный успех книги мало в чем изменил уклад его личной жизни. До самой смерти (1936) Шпенглер продолжал культивировать одиночество и сохранять принципиальную дистанцию по отношению к разного рода идеологическим и политическим группировкам, наводнившим Германию периода Веймарской республики. И хотя одна из поздних его работ на сугубо политические темы «Годы решения. Германия и всемирно историческое развитие» также привлекла к себе большое внимание, все же на вершину славы немецкого мыслителя вознес «Закат Европы». По сути дела все написанное им до и после представляет собой лишь многообразные перепевы этой книги.

Политическая доктрина Шпенглера в нашей литературе не рассматривалась. Между тем среди профессиональных предпочтений Шпенглера данная тематика имеет первостепенную значимость. Приводимое ниже высказывание не оставляет никаких сомнений относительно внутреннего пафоса и реального содержания шпенглеровских культур-философских построений: «Я вновь и вновь повторяю, что описывал только факты для людей, мыслящих государственно, а не для романтиков. Когда же, наконец, решатся слушать меня, а не просто читать? Я жду этого» [1, S. XIII]. Любопытно автобиографическое признание: «С детских лет стремление быть Наполеоном, великим политиком, государственным мужем, изменять географические карты» [2, S. 28].

Интерес к политике проявлялся у Шпенглера не побочно, не наряду с прочими интересами, а принципиально. Характерно, что поначалу замысел «Заката Европы» сводился к сугубо политической проблематике, внешним толчком к написанию книги послужили так называемый второй марокканский кризис и агадирские события 1911 года. Со временем замысел разросся до масштабов универсальной морфологии исторического процесса, но тайная пружина концепции оставалась по-прежнему неизменной. В свете сказанного анализ социальной философии Шпенглера приобретает принципиальное значение для понимания всего компендиума его воззрений. Взгляды автора «Заката Европы» можно толковать по-разному, нельзя лишь рассматривать их по образцу стандартного подхода к изделиям научной мысли. Шпенглер не устает подчеркивать свою полную непричастность к академически объективной, теоретически чистой науке; для таковой у него всегда наготове запас высокомерно-бранных выражений. Более того, он отрицает саму возможность теоретически чистой мысли. Мышление в любой форме, в том числе и научное, идентифицируется им с определенным типом идеологии, а следовательно и политики. (Данный тезис, не без очевидного влияния Шпенглера, был фундаментально развит К. Маннгеймом [3]). Это значит, что мышление как таковое есть всегда политическое мышление, даже в тех случаях, когда оно мнит себя аполитичным и маскируется псевдопроблемами чистой науки. Продолжать не имеет смысла: сказанного

вполне достаточно, чтобы признать политическую философию Шпенглера ключом к его философии вообще. И мы моментально окажемся в самом средоточии нашей темы, если добавим, что самому Шпенглеру она представлялась ключом к пониманию эпохи, более того, выражением принципиальных тенденций эпохи. Этому писателю, меньше чем кому-либо, было до церемоний; бесцеремонность стиля, поддерживаемая суггестивными повадками большого артиста и виртуозной техникой ассоциаций, составляет доминанту всех произведений Шпенглера. Читателю постоянно внушается, что дело обстоит так-то и так-то, и что он должен считаться с этим, невзирая на собственное мнение. Вот типичный пример такого внушения: «Жизнь не имеет “цели”. Человечество не имеет “цели”. Существование мира, в котором мы на нашей маленькой планете — лишь небольшой эпизод, есть нечто слишком величественное, чтобы такие жалкие вещи, как “счастье наибольшего количества людей”, могли быть целью. В бесцельности заключается величие драмы. Так чувствовал Гёте» [1, S. 104][1]. А вот заключительный пассаж второго тома «Заката Европы»: «У нас нет свободы достичь того или иного, но мы вольны делать необходимое или ничего не делать. И задача, поставленная необходимостью истории, найдет свое решение, в союзе с отдельной личностью или против нее» [5, S. 630]. Контекст достаточно прозрачен: «отдельная личность», «союзная» с исторической необходимостью, и есть сам Шпенглер. Ремесло историка, таким образом, наделяется всеми признаками харизматического вождя, знающего то, чего не знают другие, и, следовательно, вполне компетентного решать политические задачи. Не удивительно, что с момента выхода в свет второго тома книги (1922) Шпенглер не удерживается от искуса политического ангажемента: вслед за словом должно было последовать дело. Некогда безвестный гимназический учитель вполне приватная личность, автор «Заката Европы» претендует теперь на место нового Меланхтона («praeceptor Germaniae») и выбирает себе роль если не «вождя», то по меньшей мере «предтечи» тех исторических событий, которые должны были составить недалекое будущее Германии и мира в целом. Остановимся вкратце на этом периоде политической активности Шпенглера, прежде чем перейти к рассмотрению его политической доктрины.

Политическая программа

Парадоксы мысли спровоцировали парадоксы действия. Признавая за политикой право верховной жизненной инстанции и даже попросту отождествляя ее с самой жизнью («Политика в высшем смысле есть жизнь, и жизнь есть политика» [5, S. 417]). Шпенглер тем не менее не счел возможным принести ей в жертву свою «болезненную потребность в одиночестве» [2, S. 49]. Трудно сказать, что именно отталкивало его от присоединения к той или иной политической группировке — брезгливость ли испытанного ницшеанца, стремление ли играть просто закулисную роль или, в конечном счете, все тот же суеверный культ одиночества. Первый политический трактат Шпенглера «Пруссачество и социализм», вышедший в 1919 году, стал своеобразной интермедией, разыгранной между двумя томами «Заката Европы». Значение этой небольшой по объему книги трудно переоценить, во всяком случае самому Шпенглеру казалось, что именно с нее в веймарской Германии началось национальное движение [1, S. VII]. Культурфилософ, еще недавно вызывавший такие бурные толки в среде специалистов, внезапно очутился в центре внимания политиков и политически ориентированных кругов. С 1920 года начинается деятельность Шпенглера в качестве политического публициста, причем характерно, что и здесь он продолжает блюсти статус непричастности, демонстративно

[1] Э. Никиш так характеризует стиль Шпенглера: «Язык искрится в отточенных предложениях, по мелодичности, ритму и силе удара он соперничает с Ницше; правда, его формулировки не отличаются эластичностью и глубиной; они метки и звучат как приказы и безапелляционные решения. Энергичность и самонадеянность внушения таковы, что читатель просто не находит в себе мужества противоречить и даже мыслить иначе. Он оглушен правдой, выкрикнутой ему в уши…» [4].

выступая на страницах самых различных газет, от консервативной «Neue preussische Kreuzzeitung» до либеральной «Vossische Zeitung». Тогда же завязываются и политические знакомства Шпенглера. Круг его единомышленников и партнеров достаточно широк и влиятелен: в основном это крупные рурские промышленники — генеральный директор концерна «Гутехоффнунгсхютте» Пауль Ройш, инспектор лесного и водного хозяйства Георг Эшерих, Гуго Стиннес, Альберт Фёглер, а также политические деятели крупного калибра — лидеры немецкой национальной народной партии Альфред Гугснберг и Карл Хельферих, верховный государственный комиссар в Баварии Густав фон Кар, главнокомандующий силами рейхсвера Ганс Зеект. Сам Шпенглер воздерживался от каких-либо прямых политических акций. Благодаря публицистическому таланту он смог в блестящей литературной форме выразить ряд идей крайне националистического толка, что обеспечило ему бесспорное идеологическое первенство среди деятелей так называемой консервативной революции. Политическая активность Шпенглера проявлялась большей частью в закулисном инспираторстве и подстрекательстве. Впрочем, один раз, кажется, он чуть было не сорвался в авантюру — есть данные, свидетельствующие о его участии в подготовке государственного переворота в Баварии в конце 1922 года. Речь шла о свержении республиканского правительства и учреждении Директории, где самому Шпенглеру предназначалось место министра культуры и образования. Любопытнее всего, что изданная в 1924 году книга «Восстановление германской империи» производит впечатление программы, намеченной к осуществлению сразу после переворота [6, S. 289]. В это же время происходят первые контакты Шпенглера с так называемыми «Völkische» (национал-социалисты и близкие к ним круги), отношение к которым у него с самого начала резко отрицательное. Уже в сентябре 1923 года он обеспокоен деятельностью Гитлера и Людендорфа и просит генерала Зеекта принять все меры для национального спасения [7, S 244][2]. Ниже мы остановимся на дальнейших взаимоотношениях Шпенглера с национал-социализмом; в конечном счете именно оценка этих взаимоотношений должна будет подвести итог политических воззрений немецкого философа.

Какова же в целом политическая программа Шпенглера? Для ответа на этот вопрос нам предстоит обозреть вкратце его концепцию политики, изложенную во втором томе «Заката Европы». Схема Шпенглера чрезвычайно проста и цинична. Мир для него равен истории, история равна политике, а политика равна войнам. «Действительная история, — утверждает он, — не есть “культурная история” в антиполитическом смысле, милом сердцу философов и доктринеров всякой зарождающейся цивилизации, в том числе и нашей; напротив, она есть история расы, история войны, дипломатическая история, судьба течений бытия в облике мужчины и женщины, рода, народа, сословия, государства, которые в буре великих событий силятся защитить себя и покорить друг друга» [5, S. 417]. Собственно сущность политики сводится здесь к отъявленной тональности социал-дарвинизма. Шпенглер, находящий множество высокомерных слов в отношении Дарвина и английского миропонимания вообще, открыто исповедует наиболее крайние возможности этого миропонимания. Политика для него прямой аналог «борьбы за существование», некая витальная тактика, организующая поведение людей из потребностей жизненной борьбы. Курьезность ситуации налицо: мы увидим еще, какое место занимает в политической концепции Шпенглера англофобия, столь свойственная всему немецкому национализму веймарского периода. Шпенглер, защитивший в молодости диссертацию о Гераклите, полагал, очевидно, что источником этих воззрений сочтут именно глубокомысленные фрагменты греческого философа; между тем источник оказался иным и до обидного плоским: пути к Гераклиту перекрыли Гоббс и убого

[2] Характерен отрывок из письма к П. Ройшу: «Я вижу только еще одну последнюю возможность: повернуть дело так, чтобы промышленники, наконец, решительно взяли в руки свои политические гарантии Иначе нам не избежать кровавого события, которое однажды случится и которое в национальных интересам должно быть максимально отсрочено» [7, S. 260].

истолкованный дарвинизм, а за маской англофобии обнаружился еще один впечатляющий демарш английского духа.

Последствия шпенглеровской формулы — «Мировая история есть история государств. История государств есть история войн» [5, S. 452] — вытекают сами собой. Вульгарный биологизм неизбежно модулирует в тональность вульгарного социологизма. Шпенглер провозглашает войну абсолютной формой человеческой истории. Мирные промежутки этой истории, по его мнению, составляют чистейшую иллюзию, способную сбить с толку профанов. Ибо так называемый мир есть не что иное, как «продолжение войны другими средствами: попытка побежденного отделаться от последствий войны через форму договоров, попытка победителя утвердить эти последствия» [8, S. 24]. Война, таким образом, оказывается тотальной войной, охватывающей все фазы истории и проявляющейся либо в непосредственной «экологической» форме, либо через опосредованные «духовные» формы (дипломатия и т. д.). В одной из поздних работ Шпенглер утверждает: «Политика есть лишь временный эрзац войны в форме борьбы, осуществляемой более духовным оружием» [9].

В чем же сущность политики, каковы критерии, определяющие ее адекватную форму? Ответ Шпенглера и в этом случае балансирует на грани «оскорбительной ясности» («beleidigende Klarheit», выражение Ницше о Д. С. Милле). Действительность есть действительность фактов. Следовательно, действительная политика есть политика, имеющая дело только с фактами и инстинктивно чурающаяся понятий, теорий и программ. Величайшей опасностью, подстерегающей государственного мужа, является подмена реальных фактов факторами культурного образования и мышления, когда он перестает воспринимать реальность факта «государство» и мыслит сообразно юридическим или эстетическим нормам классической традиции. Но что значит для Шпенглера факт? «Не истина, добро, возвышенное, но римлянин, пуританин, пруссак есть факт» [5, S 549—550]. Еще одна выдержка: «Царства преходят, хороший стих остается, думал В. фон Гумбольдт на поле битвы Ватерлоо. Но личность Наполеона наперед оформила историю ближайших столетий. Хорошие стихи — он должен был бы спросить о них первого попавшегося крестьянина. Они остаются — для преподавания литературы. Платон вечен — для филологов. Но Наполеон внутренне владеет всеми нами, нашими государствами и армиями, нашим общественным мнением, всей нашей политической жизнью, и тем в большей степени, чем меньше это осознается нами» [5, S 544]. Приведенный пассаж крайне характерен для публицистических приемов Шпенглера — примитивная топорность текста, как правило, компенсируется у него рафинированной самопротиворечивостью контекста. Достаточно лишь вспомнить, что подобные ходы мыслей принадлежат не профессиональному политику в отставке, коротающему свой досуг за письменным столом, а всего лишь филологу (или, в ином ракурсе, именно филологу), внутренне одержимому Платоном и едва ли имеющему хоть какое-либо отношение к Наполеону, чтобы без остатка разоблачить излюбленный прием Шпенглера, рассчитанный на моментальный массовый успех. Этот прием отработан в точном соответствии с библейской притчей о первородстве, проданном ради чечевичной похлебки. Неблагодарный выученик Платона, обязанный филологии всем (примечательно признание: «Никто не может иметь к большому искусству нашего прошлого — ибо современность лишена такового — более близкого отношения, чем я; я не могу жить без Гёте, без Шекспира, без старой архитектуры; каждое произведение благородного искусства Ренессанса волнует меня как раз по той причине, что я вижу его границы. Бах и Моцарт значат для меня больше, чем что-либо» [10, S. 77]), он, тем не менее, при случае и без случая демонстративно оплевывает филологию во славу сталелитейного завода или нечистоплотных политических игр. Впрочем, какое это имеет значение для человека, фанатически привязанного к фактам и отказывающего в фактичности истине и добру, чтобы безраздельно отдать се демографическим бюллетеням прусских архивов!

Высшей целью реальной политики Шпенглер провозглашает создание государства,

способного держать нацию «в форме» (in Form). Спортивное происхождение термина при этом не утаивается, а, напротив, декларируется. Спорт, как чистейший продукт цивилизации, оказывается наилучшим стилистическим тропом для политико-философских характеристик. Какова же политическая подоплека этого спортивного оборота? «В форме — скаковые лошади, которые гибко и уверенно в изящном прыжке берут барьеры и снова движутся по равнине в ровном цокоте копыт. В форме — борцы, фехтовальщики и игроки в мяч, чьи руки с заметной легкостью выделывают рискованнейшие движения. В форме — художественная эпоха, для которой традиция естественна в той же мере, в какой контрапункт для Баха. В форме — армия, каковой обладали Наполеон при Аустерлице и Мольтке при Седане. Все, что свершалось в мировой истории, на войне и в том продолжении войны духовными средствами, которое мы называем политикой, всякая успешная дипломатия, тактика, стратегия, будь она государственной, сословной или партийной, проистекает из живых единств, находящихся в форме» [5, S. 405]. Вообще для всего склада мышления Шпенглера характерна какая-то болезненная воля к цинизму, вынуждающая его, как правило, на такую голословную откровенность, которую не позволил бы себе ни один прирожденный дипломатический ум, и выдающая тем самым его дилетантизм по части реальной (не умствующей только) политики. Сравнивать политику со спортом и оценивать ее результаты, не выходя за пределы кругозора рефери на ринге, более того, требовать от политики безоглядного подчинения правилам кулачного боя и к этому именно сводить ее высочайшее назначение — разве не просматривается здесь явная и иная подоплека, подлежащая в большей степени компетенции психоанализа, чем самой политики! Шпенглер, очевидно, рассчитывал на прямой эффект; если воспринимать читателей, как толпу и полагать при этом, что «политическая одаренность толпы есть не что иное, как доверие к руководству» [5, S. 547], то степень литературной одаренности толпы должна, по-видимому, оцениваться степенью ее доверия к автору. Между тем модель разоблачения крайне проста — Шпенглер мог бы вычитать ее, скажем, у столь ценимого им Достоевского, в том самом маргинальном отрывке из «Бесов», где Тихон, ознакомившись с текстом ставрогинской исповеди, советует ошарашенному автору немного «подправить слог». Литературные достоинства «Заката Европы» не подлежат сомнению; сравнения с ними едва ли выдержало бы перо иных из современных мастеров прозы мирового калибра, но как раз эти достоинства ничего не значат для самого Шпенглера; он третирует их с такой брезгливостью, что готов даже предпочесть им (разумеется не в собственном исполнении) язык газетных листков и биржевых ведомостей [7, S. 45]. Единственным его критерием — в политике, а следовательно и во всем — оказывается не верящий в высокие слова человек фактов («политика должна опираться на трезвые факты и соображения, а не на романтику чувств» [7, S. 517].) На деле же, это очередная стилистическая фигура, запоздалый отзвук 'романтически провинциальных переживаний, стыдливо прикрывающих страсть к звучанию фразы холодной маской апелляции к фактам. В конечном счете социальная доктрина доктора Шпенглера есть не что иное, как вывернутый наизнанку романтизм, полагающий, что чем громче и артистичнее он будет взывать к фактам, тем фактичнее окажутся его собственные притязания. К Шпенглеру в этом отношении вполне применимы слова, сказанные Р. Ароном о Максе Вебере: «Его политика была в большей степени героической, чем реалистической» [11]. Характеристика действительно меткая — лучше не скажешь едва ли не о всей немецкой социологической мысли того периода, явно или тайно исповедующей национализм. Политическая доктрина Шпенглера не выдерживает здесь никакой проверки на оригинальность; Жильбер Мерлио справедливо замечает, что «она отражает в себе практически все общие места националистической мысли эпохи» [12, p. 594]. В конечном счете именно они, а не стилизованные тривиальности специального раздела о философии политики в «Закате Европы» составляют конкретное содержание и историческую значимость шпенглеровской концепции.

Мечта о великом вожде

Доктринеры «консервативной революции», а вместе с ними и большинство исследователей этою периода немецкой истории, не обошли молчанием вопрос об истоках отмеченных выше общих мест. В числе ближайших предшественников и инспираторов были Юлиус Лашбен, автор анонимно изданной и сильно нашумевшей книги «Рембрандт как воспитатель», Пауль де Лагард, автор знаменитых «Немецких сочинении», Хастон Стюарт Чемберлен, историк культуры и теоретик расы, побивший, несмотря на британское происхождение, все рекорды по части немецкого шовинизма, и, разумеется, Фридрих Ницше. Несмотря на внешнюю текстуальную убедительность, родство этих истоков более чем сомнительно. Только путем прямого насилия над контекстом и топорного восприятия текста можно сблизить ницшевские идеи с безответственно-агитаторским краснобайством книги о Рембрандте «одного немца» («von einem Deutschen», как гласил титульный лист.) Во всяком случае было за что ухватиться: именно в лозунге Ницше «Никакого американского будущего!» — скрещивались единодушные мнения как идеологов «консервативной революции», так и ряда отдельных мыслителей, не нашедших другой возможности отреагировать на мировую войну и послевоенный период. Реакция на какой-то миг оказалась общенациональной: от транспарантов с надписью «Боже, покарай Англию!» до почтенных трудов профессора Вернера Зомбарта. Общая схема картины сводилась к радикальному противопоставлению двух принципов, толкуемых, согласно традициям отечественной мысли, чисто метафизически — английского меркантилизма и немецкого героизма. Формула еще в 1906 году была найдена Артуром Мёллером ван ден Бруком, одним из лидеров националистического движения: «Мир принадлежит герою, а не торговцу» [13]. Вальтер Ратенау, будущий министр иностранных дел Германии и первая жертва национал-социалистического террора, видит единственную возможность спасения от английской механизации жизни в заповеданной германским народам «империи души». Макс Шелер в 1915 году издает книгу «Гений войны и немецкая война» (две последние главы которой носят характерные названия: «Жребий Англии» и «К психологии английского этоса и ханжества»), в приложении к которой беспощадно перечисляются «категории английского мышления». «Самая лучезарная особенность нашего мышления, — говорится в книге Зомбарта, озаглавленной в прямом созвучии с мёллеровской формулой «Торговцы и герои», — состоит в том, что мы уже на этой грешной земле воссоединяемся с божеством… Мы — божий народ. Подобно тому, как немецкая птица — орел — летит выше всякой твари земной, так и немец должен чувствовать себя превыше всех народов, окружающих его, и взирать на них с безграничной высоты» [14]. Эрнст Юнгер провозглашает задачей германского духа разрушение буржуазных ценностей под знаком радикального девиза «лучше быть преступником, чем буржуа». «Лучшим ответом на высшее предательство духа в отношении жизни является высшее предательство духа в отношении «духа», и соучастие в этой подрывной работе принадлежит к высшим и свирепым наслаждениям нашего времени» [15]. Сколько-нибудь подробный перечень свидетельств занял бы слишком много места; остается лишь добавить, что прямым следствием этой метафизической антиномии английского меркантилизма и германского героизма оказались мессианистические ожидания, сообщившие всему движению характер какой-то экстатической взвинченности и катастрофизма. Парадигмой и на этот раз послужил Ницше: образ «сверхчеловека» задал тон, породивший целое множество вариаций от «нового прусскою стиля» Мёллера ван ден Брука через «харизматического вождя» Макса Вебера, (и, скажем уже здесь, Шпенглера) до планетарно-героической фигуры «рабочего» в упоенных суровым солдатским лиризмом утопиях Эрнста Юнгера и Эрнста Никиша. Шпенглеровский вариант — повторим это — далек от какой-либо оригинальности; он поучителен не столько сам по себе, сколько в качестве едва ли не наиболее откровенного

симптома умонастроения целой эпохи и последовавшей за этим политической катастрофы.

Противопоставление английского и немецкого (прусского!) духа по существу исчерпывает всю проблематику книги «Пруссачество и социализм». Чтобы избежать пространных описаний, воспользуемся удачно составленной Жильбером Мерлио «таблицей антиномий» и приведем из нее несколько примеров (см. стр. 131).

«Так в настоящий момент, — резюмирует Шпенглер, — сталкиваются два великих хозяйственных принципа. Викинг превратился в свободного торговца, рыцарь — в чиновника-администратора. Между ними нет примирения, и поскольку оба они, будучи германцами и людьми фаустовской культуры, не ведают никаких границ для своих стремлений и сочтут себя достигшими цели, лишь когда весь мир подчинится их идее, то война будет продолжаться вплоть до тех пор, покуда один из них не одержит решительной победы. Чем должно быть мировое хозяйство: мировым грабежом или мировой организацией? Кем должны быть цезари этой будущей империи: миллиардерами или администраторами-организаторами? Должно ли население земли в этой империи фаустовской цивилизации быть объектом политики трестов, или состоять из тех людей, которые изображены в конце второго Фауста? Воистину речь идет о судьбе мира» [1, S. 53]. Финальный акт западной истории, по Шпенглеру, должен свершиться в восхождении цезаризма; немецкий народ, как наиболее «своевременный» (ein zeitgemäßes Volk), уже вполне созрел для этой задачи. Ненависть к Веймарской республике, разделяемая всеми деятелями «консервативной революции», достигает у Шпенглера своеобразного апогея: Веймар — «внутренняя Англия», «невидимая английская армия, оставленная на немецкой земле Наполеоном после Иены», «болото», в которое британские политики втянули Германию, надеясь подчинить ее шаблону либерально-демократического устройства. Между тем «сегодня нет второго народа, который испытывал бы такую нужду в вожде (Führer), чтобы быть чем-то, чтобы обрести веру в самого себя, но и нет второго народа, который мог бы так отвечать великому вождю. Почти все его ошибки становятся в верных руках преимуществами. То, что этим могло бы быть достигнуто, далеко выходит за рамки обычного политического расчета» [10, S. 134]. И здесь же зловещее предсказание, насыщенное всеми оттенками патологического самоупоения: «Появляется насилие, как оно есть, повод к нему не в меньшей степени. История поворачивается вспять к свободе ее первобытных инстинктов, перед которыми земля и моря простираются как добыча» [там же]. Выбор был сделан; через несколько лет история действительно повернулась вспять, и немецкий народ получил реальную возможность освободить свои первобытные инстинкты, чтобы утвердить себя в качестве «народа, состоящего из 80 миллионов аристократов» (формула Даниэля Алеви). Теперь автор «Заката Европы» мог в полной мере лицезреть все абсурдные консеквенции «неподправленного слога» своих политических рапсодий.

Геббельс получил отказ

Судьба «консервативной революции» в Германии с приходом к власти национал-социалистов сложилась не без крупиц коварной иронии: большинство доктринеров этой революции с самого начала встали в оппозицию к режиму. Еще совсем недавно Гитлер мог заискивать перед ними и искать прямого сотрудничества (об этом, в частности, свидетельствует его реплика, обращенная к Мёллеру ван ден Бруку во время одного собрания в 1922 году: «У Вас есть все, чего недостает мне. Вы готовите духовное оружие для обновления Германии. Я же всего лишь барабанщик и копитель (Trommler und Sammler). Давайте же работать вместе». (Цит. по [12, p. 845]). Теперь они отказывались видеть в нем свою креатуру. Что касается Шпенглера, то с национал-социалистическим движением он был знаком едва ли не со времен «пивного путча» и уже тогда просил генерала Зеекта принять меры к ликвидации возможных рецидивов. В дальнейшем

отношение не изменилось. Книга «Годы решений» (1933) содержит множество явных и косвенных ядовитых реплик в адрес нацистов. Несмотря на это после выхода книги в свет Геббельс дважды обращается к Шпенглеру с просьбой выступить публично в поддержку режима. Когда же тот отвечает отказом, начинается организованная травля, в которой принимают участие как официальные идеологи (А. Розенберг), так и профессора (Боймлер, фон Леере, Цвейнигер), включая бывшего ученика и почитателя Понтера Грюнделя. Ученичество сохраняет силу и здесь; стиль нападок выдержан в лучших тонах шпенглеровской манеры. Несостоявшийся «воспитатель Германии» квалифицируется теперь как «мелодраматик заката», «брюзгливый интеллектуал», «запыленный мозг», его философия оказывается «гибельным сладострастием романтика», «хищным садизмом декадента» и т. д. Шпенглер, наконец, получил возможность реализовать свою «болезненную потребность в одиночестве». Уход с политической и идеологической арены был полным и бесповоротным. Травля не в последнюю очередь была вызвана недоумением приверженцев новой власти. Лучшее свидетельство этому — письмо к Шпенглеру Элизабет Фёрстер-Ницше, сестры философа и печальной памяти издателя его сочинений: «Мне было передано, что Вы встали в энергичную оппозицию к Третьему рейху и его фюреру, и что Ваш уход из Архива Ницше, относящегося к фюреру с глубоким почтением, связан именно с этим. Теперь же я сама услышала от Вас, с какой большой энергией Вы высказываетесь против нашего высокочтимого нового идеала. Но как раз этого я не могу взять в толк. Разве не приносит наш внутренне почитаемый фюрер для Третьего рейха те же идеалы и ценности, о которых Вы говорите в «Пруссачестве и социализме»? Откуда же в Вас теперь такое противоречие?» [7, S. 479]. Недоразумение вполне, оправданное — ситуация сполна проявила патологическую природу шпенглеровского мышления, выдающего себя не за то, что оно есть, и погруженного в своих последних основаниях в туманную смесь своеобразного позитивистического мистицизма. Поклонник старого, он с такой яростью отвергал это старое, что, казалось бы, был готов благословить его разрушение, и вместе с тем — безнадежный стародум, неблагодарный отпрыск староколенной метафизики, воспевающий каменноугольную промышленность, чтобы скрыть слезы по… комоду времен рококо. («Мое время — рококо; здесь я чувствую себя как дома. Античные остатки потрясают меня как сон недоступного нам счастья. Романтика наполняет грудь глубочайшей тоской. Эти саксонские и фраиконские орнаменты, капители, залы — воспоминание детства… Но рококо, будь это просто комод, зеркало, зал, доводят меня до слез» [2, S. 29].) Ретроспективные самооправдания Шпенглера сводятся в основном к одному рефрену: он не это имел в виду. Почитателя старой кабинетной политики («фугированного стиля в политике») должен был до глубины души возмутить этот «бунт бездарностей», для оценки которого ему пришлось подвергнуть основательной эксплуатации свой словарь ницшеанца. Вот некоторые образцы этой оценки нацистов: «неотесанные, грубые, болтливые, неполноценные, суеверные, продажные, нечистоплотные, черномазые (niggerhaft), профессиональные преступники, психопаты, идиоты, партийная шайка, негерманцы, душевнобольные, доносчики, воры, убийцы, лежебоки, извращенцы, пьяницы, тупорылые калеки» [6, S. 458]. Но вот, впрочем, более трезвое и «академическое» объяснение: «В так называемых «идеях» национал-социализма заключено много верного — в той мере, в какой они не зависят от собственных хвастливых агитаторов. Частично они принадлежат мне («Пруссачество и социализм»), частично же коренятся в более раннем времени, уже в эпохе Бисмарка, уже у Фридриха Вильгельма Первого. Но если посадить обезьяну за рояль играть Бетховена, она лишь разобьет клавиши и разорвет ноты. Они не поняли идей — для этого нужно обладать мозгами… Они их растоптали, поругали, опорочили, умалили до хулиганских фраз» [12, p. 907]. Искренний тон возмущения не вызывает сомнений, как не оставляет сомнений и природа его: так может возмущаться композитор вульгарным и фальшивым исполнением своего произведения. Эстет и стилист в Шпенглере еще раз (на этот раз непоправимо)

заслонили в нем реально видящего политика.

«Консервативная революция» в лице Шпенглера и прочих своих доктринеров еще раз подтвердила парадокс, вполне узаконенный XX веком: речь идет о прямом и быстром воплощении химерических идей, порожденных артистическим импульсом и всеми превратностями романтического самоопьянения. Разумеется, было бы и неверно, и несправедливо преувеличивать ее роль в подготовке гитлеризма, но не менее ошибочным было бы эту роль преуменьшать. В обоих случаях не следовало бы сбиваться на топорную и торопливо однозначную оценку «консервативной революции». Не будем забывать исторического фона, на котором ей пришлось разыграться; иначе как же можно было бы объяснить, по крайней мере, силу ее воздействия. Речь шла о реальных величинах: нужно было освободить Германию от губительных последствий Версальского договора, возродить ее былое духовное величие, стало быть, решительно и полностью отвергнуть путь развития, навязываемый западным, в особенности британским империализмом. Альтернатива была сформулирована со всей ясностью: торговцы или герои. Но здесь и произошла подмена реальной проблемы романтическим угаром; ничто уже не могло остановить этой эстетизации политики, которой отдавались с не меньшим пылом, чем того требовали правила дионисической поэтики. В итоге вокруг проблемы рос и ширился вакуум: мощная всасывающая сила, втянувшая, наконец, па политическую арену клику посредственных авантюристов. Шпенглер имел все основания на приведенный выше пример с обезьяной за роялем: клавиши и ноты действительно оказались разбитыми и разорванными. Но за этим была упущена одна весьма существенная деталь: обезьяну надо было сперва посадить за рояль играть Бетховена.

Литература

1. Spengler O. Politische Schriften München. C. H. Beck, 1932.
2. Nacher 1. Oswald Spongier Hamburg: Rowohlt, 1984.
3 Manheim K Ideologic und Utopie Fr/M.: Schulte-Bulmke. 4 Auf. 1965.
4. Niekisch E. Oswald Spengler // Neue Welt. Berlin-Ost. 1947. Ing. 2. H. 7. S. 53.
5. Spengler O. Der Untergand des Abendlandes. Bd. 2 München: C. H. Beck, 1968.
6. Koktanek A. M. Oswald Spengler in seiner Zeit. München: C. H. Beck 1968.
7. Spengler O. Briefe. München: C. H. Beck. 1963.
8. Spengler O. Jahre der Entscheidung. München: C. H. Beck. 1933.
9 Spengler O. Der Mensch und die Technik. München: C. H. Beck 1931. S 37.
10 Spengler O. Reden und Aufsatze. München: C. H. Beck. 1937.
11. Aron R. La sociologie allemande Paris: PUF. 1966. P. 108.
12. Merlio G Oswald Spengler, temon de son temps. T. 2. Stuttgart: Akademischer Verlag Hans-Dieter Heinz. 1982.
13. Schüddekopf O. E. Linke Leute von rechts. Stuttgart: Kohlhammer. 1960. S. 36.
14. Sombart W. Handler und Helden. München-Leipzig: Duncker und Humbolt. 1915. S. 63, 143.
15. Jünger E. Der Arbeiter. Werke. Bd. 6. Stuttgart: Klett. 1963. S. 48.